

Нет Байкала без выдающегося русского писателя Леонида Ивановича Бородин и нет Бородин без Байкала. В последние годы жизни при всяком удобном случае Леонид Иванович стремился на родные байкальские берега, где среди фантастической красоты скал и деревьев, туманов и бескрайних горизонтов, в искрящемся сиянии многоцветного озера проходило его детство. Родители Бородин трудились в Маритуйской средней школе, и, конечно же, из первых маритуйских впечатлений выростала его звонкая, чистейшая проза “Год чуда и печали”. Эти впечатления были самыми сильными и оставались рядом с ним на протяжении всей его жизни.

К Байкалу мы подъехали в ночь на третьи сутки. Тщетно я вглядывался в дверную щель. Темнота, как назло, была непроглядная. Но на первой же остановке я сразу обратил внимание на незнакомый шум. Что-то большое и тяжёлое вздыхало не то сердито, не то угрожающе где-то совсем рядом с вагоном, и от этих вздохов несло холодом и сквозняком, и воздух был совсем не такой, как везде раньше, почему-то всё время хотелось вдохнуть его как можно больше, и оттого кружилась голова и грудь распирало то ли свежестью, то ли сыростью, а запах, шедший оттуда, из темноты, не напоминал ни о чём знакомом и был так силён, что подавил все запахи вагона и как бы сам пролился в ноздри. Несколько часов мы ехали по берегу Байкала, хотя я никак не мог представить, как можно ехать по берегу и, тем более, как выглядит этот берег. Была такая же непроглядная темнота, когда отец возвестил, что мы приехали, и удивительно, что во тьме этой нас встречали. Двое мужчин влезли в вагон, жали руки отцу с матерью, поздравляли их с прибытием и меня тоже, а меня каждый из них хотел чем-то угостить, лез в карман, но ничего там не находил и обещал завтра: один – показать шкуру медведя, другой – покатать на лодке. Так много было новых впечатлений и ощущений, что я с какого-то момента впал в транс и плохо помню дальнейшие события. Помню, как в темноте разгружали вагон, перетаскивали вещи, по темноте меня вели куда-то, а с одной стороны теперь уже отчётливо и, казалось, где-то рядом, под ногами, вздыхало всё то же неизвестное существо, и холод с той стороны, не летний, скорее, позднеосенний шёл сплошным потоком и ощущался лопатками.

Всякий раз в дни праздника русской духовности и культуры “Сияние России” мы отправляемся в путешествие по Кругобайкалке. Двигаться по берегу Байкала мы можем как со стороны порта Байкал, так и со стороны Слюдянки и Култука. Я заметил, что каждый раз, попадая на станцию Маритуй, поезд стоит дольше, чем на других остановках. Позже я узнал, что в Маритуе наш поезд ждёт встречного и уступает ему дорогу (путь-то один). И, если гостем праздника оказывался Леонид Бородин, то он максимально использовал полчаса

времени, чтобы обойти родные места, и всякий раз за ним шла большая группа писателей, как иркутян, так и гостей “Сияния”. А Бородин, оживлённый и счастливый, шёл вдоль станции, показывал на высокую гору, где он встречался со старухой Сармой, стариком Байколлой и девочкой Ри, жестикулировал и вспоминал односельчан и одноклассников, здесь когда-то живших. А передо мной, как будто наяву, являлись строки из “Года чуда и печали”:

Помню, прежде чем войти в дом, на первой ступеньке крыльца я взглянул вверх на небо и ужаснулся: оно было обрезано по бокам темными громадами, и я догадался, что это горы, а дом наш внизу между ними. А место, где мы теперь будем жить, это... могила для тысячи слонов! — именно так мне подумалось. Стало страшно и захотелось спать. Проснулся я, как в сказке, совсем в другом, новом мире. В комнате было ослепительно светло, на стене напротив меня — это первое, что я увидел, — висел косой и тёплый квадрат солнца. Комната уже приняла жилой вид, и я сам оказался не на матрасе в углу, где свалился ночью, а на кровати у самого окна, по краям которого уже висели знакомые занавески, на подоконнике стоял знакомый горшок с цветком, и в окно всей полнотой диска глядело солнце, так что и взглянуть было нельзя, и я совсем напрасно, прикрывая глаза ладонью, пытался рассмотреть, что же там, за окном. Но вспомнив, что это не вагон, что у дома есть дверь и что за нею всё в моём распоряжении и навсегда, — я тут же натянул брюки, рубашку, кое-как завязал шнурки на ботинках, ещё не зная расположения дома, чутьём бросился к одной из двух дверей, попал на кухню и, не сказав ни слова маме, даже не взглянув на неё, даже носом не поведя на вкусные запахи с плиты, всем телом стукнулся по входной двери, затем по сенной и выскочил на крыльцо. “Могила для тысячи слонов” оказалась громадным ущельем, куда можно было упрятать и сто тысяч. Горы оказались намного выше, чем это угадывалось ночью, ничего подобного я и представить не мог. Крыльцо выходило в сторону ущелья, и справа от меня на самой вершине горы, на жёлтой отвесной скале сидело, свесив ноги, солнце. Сидело оно так удобно и уютно, что можно было подумать, будто в этих местах оно вовсе не ходит по небу, а весь день пребывает в каменном кресле, к ночи лишь прячась за его спинку. Оба склона ущелья снизу были покрыты кустарником, дальше начинался березняк, а ещё выше — хвойные деревья вплотную друг к другу, и это была уже, наверное, тайга. Я ещё не знал, что кустарник — это багульник, а хвойные деревья — кедры, а лес называется кедрачом, я ещё ничего не знал о том, что вокруг, я только стоял на крыльце и шалел от небывалости и невиданности.

Я точно знаю, что ни у кого из писателей, живших или ныне живущих на Байкале и в Иркутске, в их очерках и рассказах нет описания ранних, детских впечатлений о великом море-озере. Каждый из тех, кто рассказывал о Байкале, рисовал картину, увиденную во взрослом состоянии, и эти впечатления, какими бы они ни были яркими и неожиданными, не рисуют подобных картин, не передают подобных чувств, какие испытал Леонид Бородин:

Впереди, где ущелье словно сходило на нет, поперёк ущелья просматривалась другая гора, она казалась ещё выше. А слева по каменистой ложбинке мне навстречу прыгала по камням речушка, и как только глаза мои притёрлись к увиденному, слух заполнился журчаньем этого горного ручья, бегущего куда-то за дом. Вдоль этого ручья-речки, дальше по ущелью, стояли дома, причём один над другим, между ними петляла и горбилась дорога и упиралась затем в большое двухэтажное здание в глубине ущелья; я догадался, что это зола. Левая сторона ущелья была ближе к нашему дому, и я снова окинул её взглядом, всю, от подножья до горизонта, который так непривычно висел над головой. Тут я впервые испытал то чувство, которое сохранил на всю жизнь: горы существуют для того, чтобы на них взбираться. Не помню, сколько лет назад я последний раз забирался на какую-нибудь гору, но каждый раз, попадая в горную местность, каждую гору, каждую скалу примериваю и оцениваю: здесь бы уцепился, там подтянулся, тут перепрыгнул... И каждый раз, когда мне встречается решительно неприступная гора или вершина, это волнует меня, раздражает настолько, что может испортить настроение, хотя, наверно, для альпинистов не существует недоступных вершин. Но я никогда не был альпинистом, и покорение высоты при помощи верёвок и прочих приспособлений мне представляется таким же кощунством, как если бы залететь туда на вертолёте!

Как-то на “Сиянии России” мы выступали перед преподавателями и студентами Иркутского университета путей сообщения, и Леонид Иванович долго и вдохновенно рассказывал о железнодорожниках, о своей любимой байкальской станции, о необычайно трудной физической работе путевых ремонтных бригад. Рассказывал о быстрой безотлагательной замене на путях шпал и рельсов в труднопроходимых местах Камышенской дороги среди скальных навесов и камнепадов, до мельчайших подробностей вспоминал все перипетии этой работы. Характеризуя тот давний период жизни, он называл себя в книге “Без выбора” “рабочим путевой бригады на родной Кругобайкальской дороге”.

Но это всё впереди, а в начале жизни был приезд на глухую таёжную станцию, постижение Байкала и окрестностей Маритуя как невероятных, таинственных субстанций, будто бы явленных из ниоткуда:

Тогда же, двадцать пять лет назад, всё моё существо непосредственно откликнулось этой жажде подъёма, и я, сбегав с крыльца, прыгая с камня на камень через речку, с ходу, с разбега начал забираться по склону ущелья, а он оказался много круче, чем виделось с крыльца, и только несколько первых шагов я сделал на ногах, затем уже на четвереньках, цепляясь за траву, мох, кусты, карабкался по прямой, пока совсем не выдохся, запала моего хватило едва ли на пятьдесят метров. Но когда остановился, выпрямился и развернулся лицом к ущелью, высота, на которой оказался, так напугала меня — особенно вид уменьшившихся домов, — что одышка перешла в спазмы. Я закачался и в тот момент впервые в жизни познал противоречие между устремлённостью души к высоте и склонностью тела к падению. Я присел, вцепившись руками в мох, и никак не мог оторвать взгляда от крутизны под ногами и какой-то объёмной пустоты передо мной. Но мне удалось наконец отвернуться, и я взглянул туда, куда ещё не смотрел. Та сторона, когда я стоял на крыльце, закрывалась домом. Поперёк опрокинутого треугольника ущелья высоченной насыпью проходила железная дорога, двухарочным мостом упираясь в самую горловину ущелья. Это было красиво, но это что! Это ерунда! Вот что было дальше, за полотном, за ущельем! Там было одно сплошное белое ничто! В учебнике географии для пятого класса я уже видел картинку, как представляли себе древние конец света. Чудак, высунув голову, видит за пределами мира хаос в виде разбросанных вещей и предметов. Ужасно нелогично: какой же это конец света, если там ещё что-то есть! Если бы конец всего действительно существовал, то он бы должен выглядеть именно так — сплошным белым ничто. Конечно, я не первую минуту жил на свете и догадался, что это туман! Но какой это был туман! Ведь чаще всего туман бывает клочьями, сгустками, полосами; здесь же ровное белое молоко, оставив в отчётливой яркости контуры склонов ущелья, сплошь до самого неба растворило в себе всё, что за ним было, и пребывало в покое, который, если абсолютный, то тоже, наверное, есть ничто...

Мне довелось на протяжении нескольких лет встречаться и общаться с Леонидом Ивановичем в Москве, в Иркутске и на берегах Байкала, куда мы однажды втроём — Бородин, я и его иркутский племянник Олег рванули на Байкал на Олеговой иномарке. Стояла умопомрачительная байкальская осень с пронзительным солнцем и кристально-аквамариновой водой, кажется бегущей по всему земному шару, так она широко разбегается перед глазами. Иногда начало октября на Байкале бывает удивительно мягким и по-летнему тёплым, даже можно купаться, не боясь простыть, потому что байкальская вода не враждебна здоровью, а воистину целебна. Она пронзает нырнувшего в Байкал вспышкой холодного электричества, тысячами острых иголок охватывая всё тело, и, кажется, рождает тебя заново. Телу становится жарко, и даже если подует ветерок, засвежит воздух, то он не знобит тебя, потому что тело горячо пылает, как будто растёртое снегом. И вот какие чувства испытал маленький Лёня от первой встречи с Байкальской водой:

Я, наконец, пришёл в себя и опрометью кинулся прочь из-под моста навстречу и в самые объятия чудесному туману. От моста пробежал не более двадцати шагов, как вдруг ноги мои обожгло. Не сообразив сразу, в чём дело, нагнулся и только тогда увидел воду. Когда же сделал несколько шагов назад, посмотрел перед собой и опять ничего не увидел, кроме белого тумана перед собой и везде впереди. Тогда я опустил на корточки и шажками стал подкрадываться к воде и обнаружил её, притворившуюся тонким, светлым стёклышком. Зрение она могла обмануть, но осязание — нет! И когда я осторожно

дотронулся до неё пальцами, она, словно устав от притворства, охотно расступилась, пропустив пальцы в свой нелетний холод, но замкнулась в стекло тотчас же, как только я убрал руку.

Долго я сидел на корточках и рассматривал камешки под стеклом, иногда вынимая тот или другой, словно проверяя, такие ли они в действительности, как видятся. Когда я поднял глаза, туман уже отступил достаточно далеко, хотя всё ещё стоял сплошной белой завесой, но всё же отступал он уже прямо на глазах, и передо мной всё больше и больше открывалось застеклённое пространство, ни малейшим движением, ни единой морщинкой не выдававшее своей подлинной сути. И чем больше пространства открывалось впереди, тем упорнее создавалось впечатление громадного, бесконечного стекла, от ног моих уходившего к небу и перекрывшего всю остальную землю.

Стекло – это хрупкость! Жажда познания выявляется у детей потребностью проверки качества предмета, и я, нагнувшись, взял в руку большой камень. Притом ощущение было такое, будто стою перед окном с хулиганским помыслом. Помысел оказался непреодолим, и, размахнувшись, я кинул камень как мог дальше. Раздался типичный треск разбитого стекла, полетели вверх осколки, пошли круговые трещины, расходясь в стороны, как борозды грампластинок. Первая, самая крупная борозда достигла меня и укоризненно облизнула мои и без того уже мокрые ботинки. Но через мгновение от моего хулиганства не осталось и следа, след от удара зарос гладким, спокойным стеклом, как будто ничего не случилось. Если бы окна домов обладали тем же свойством, насколько счастливее было бы детство мальчишек!

В тот наш осенний приезд на Байкал мы оставили машину внизу, недалеко от заброшенной ныне судоверфи, и взобрались на крутой, резко вниз обрывающийся берег. Здесь, на самом краю, стояло несколько могучих древних лиственниц, а слева, на прочном поскее гористого выступа, уже появились разношёрстные новостройки. Бизнесмены не тратили времени даром, молниеносно захватывали экзотический берег посёлка Листвянка. Вообще-то он, этот берег, захватывался с самого начала перестройки, и по всей Листвянке в невообразимой толчее, почти один на одном, с начала девяностых росли коттеджи и каменные дома-монстры, напоминающие тяжёлые орудия с башнями, нацеленными в створ Байкала, невообразимо безвкусные по архитектуре замки и гостиницы, рестораны и частные ночлежки.

Мы стояли на высоком берегу, вернее, не стояли, а парили над Байкалом. Внизу, в чутких, едва колышущихся волнах, серебрилось, золотилось и взблёскивало разбитое в осколки солнце. Над морем стонала, то садясь и взлетая, то ныряя в Байкал, огромная стая чаек, и полёт этих белых чаек напоминал своим кружением и свертаньем какой-то неземной мистический танец то ли инопланетян, то ли шаманов.

Леонид Иванович, замороженный и молчаливый, смотрел вдаль и вспоминал своё детство, потом, повернувшись к нам, сказал:

– Не верится, что Байкал можно так просто умертвить. Хотя кто его знает? Вон, даже отсюда виден чёрный столб дыма над Байкальском. С детства я, как тайну, храню свою привязанность к Байкалу, к станции Маритуй, к тем скалам и тропкам, по которым спускался или поднимался, и никому не рассказывал о своих чудесных снах и открытиях. Всё то волшебство, которое со мной случилось и которое меня окружало на Байкале, оно как будто бы меня воцерковило, как воцерковляет человека православная вера. Эта религия Байкала стала первоосновой в моём понимании окружающего мира.

В тот день мы, насладившись Байкалом и собираясь отъезжать в Иркутск, сидели в машине, пили чай из термоса, ели пирожки с байкальскими грибами и поглощали куски вкусного, сладкого пирога с брусничкой, которыми снабдила нас моя мастерица-жена Евгения Ивановна. Бородин с удовольствием вкушал пироги, хвалил Женю (Бородин был у нас дома в гостях), и вдруг я увидел на причале хорошо знакомого мне Алексея Фёдоровича Тирских, который когда-то давно капитанил на огромном плотовозе то ли “Севан”, то ли “Балхаш”, а сейчас трудился на небольшом “ярославце” у одного из частных владельцев. Я выскочил из машины и пригласил Тирских подойти к нам.

– Вот, Леонид Иванович, – обратился я к Бородину, – это наш портовый капитан, он когда-то жил в Маритуйе и учился у ваших родителей.

Бородин заблестел глазами, радостно улыбнулся и, пожимая Тирских руку, пригласил его в машину. Они сели на заднее сиденье, и мы с Олегом,

чтобы им не мешать, вышли из иномарки. Хотя со мной была видеокамера и я снимал почти всю нашу поездку и пребывание на Байкале на камеру, я стал прогуливаться по берегу, но кусочек этой встречи всё-таки записал.

В этой поездке на Байкал мы много говорили о политике, о том, что может случиться с Россией на её поворотных путях и заносах. Бородин на всё имел свою неопровержимую точку зрения:

— Советский Союз уничтожили, прежде всего, как основу национального государства! Русской державы почти нет, — говорил он жёстко, — мне кажется, что грядёт разрушение России, причём тотальное разрушение. Во времена доходящей до бешенства смуты, в дичайший век проходимцев и авантюристов, специально насаждаемого в стране бесчестия и бесстыдства очень сложно выстоять.

Всё то, о чём мы говорили, основные его мысли и тезисы, его предсказания впоследствии, к сожалению, сбывались. В марте 2007 года он писал:

ГОСУДАРСТВО (выделено Бородиным. — **В. С.**) *как единственный способ самоорганизации народа и ПРАВОСЛАВИЕ* (выделено Бородиным. — **В. С.**), *пусть хотя бы как система неизблемых нравственных основ, — вот те базовые ценности, без которых не восстановиться России, если ей ещё суждено восстановиться.*

Спорить с ним было бесполезно. Он был чётко, упрям и в споре не уступал никому. Я помню эти неуступчивые с обеих сторон споры с Владимиром Личутиным в Иркутском гуманитарном центре (Библиотеке им. Полевых) или споры с пылью до потолка со Станиславом Куняевым в отстаивании главных направляющих линий журналов “Москва” и “Наш современник”. Бородин был чрезвычайно доказателен, неумолим и держался стойко, надёжно, не раскалялся добеда, не опускался до оскорблений и не позволял себя оскорблять.

Однажды в Москве в его кабинете накануне 50-летия журнала “Москва” вся редколлегия отмечала успешную сдачу очередного номера в печать, и Бородин попросил меня поздравить редакцию журнала. Я поднял бокал и произнёс тост за Леонида Ивановича, на что он мне ответил:

— Бородина нет без редколлегии, переадресуй свой тост.

Я поздравил редакцию журнала, но всё равно прочёл стихи, посвящённые Бородину:

**Леониду Бородину,
автору повести “Третья правда”**

*Трижды светел твой лик на Байкале!
Посреди не свершённых идей
Третью правду всем миром искали,
Ты нашёл её в сердце людей.*

*Ты нашёл её не на парадах,
А в простой православной избе.
Эта третья — народная правда —
Путеводная в русской судьбе.*

*О вершителях зла памятуя,
Ты за Веру и Крест воевал.
Третью правду, как свет Маритуя,
Ты в застенках к себе призывал.*

*И на голос сыновнего зова
Из души, из народных глубин
Приходило Высокое Слово,
Как сиянье байкальских рябин.*

*И с тобою свиданию рада,
Раскрывала объятия свои
Третья правда — великая правда,
Бородинская правда любви.*

Всё чаще вспоминаются наши разные встречи, а в Москве особенно, когда я, будучи в командировках, постоянно заглядывал к нему в редакцию. Он, бывало, курил в кабинете, но иногда уходил с сигаретой на небольшой узкий балкончик и там, сидя на стуле, глубоко затягивался и вёл со мной разговор. Как-то года за два до кончины сказал вдруг неожиданно, так что я растерялся:

– Возьмёшь на себя журнал? Переезжай в Москву. Ты – умный, хваткий, талантливый. Умеешь к себе притягивать людей, сможешь и деньги найти, и журнал вытянуть.

– Что вы, Леонид Иванович, – обрёл я дар речи. – Да кто же меня здесь поселит и куда?

– Сначала у Валентина поживёшь, он тебя не прогонит. Ты же у него останавливаешься?

– Да, у него. Но я приезжаю дня на два, на три. Правда, в 2008 году во время моей операции на сердце жили мы с Женей почти весь апрель, а потом ещё в августе месяц, у Светланы Ивановны случилась операция.

– Да... – Бородин задумался, – тяжело Вале, – Мария погибла, теперь вот у Светланы проблемы.

– Да и не справлюсь я, Леонид Иванович, тут как на амбразуру надо броситься, да и огромный опыт нужен. Нет, это не для меня, – закончил я этот странный разговор.

Кстати, книги, которые он мне дарил, подписаны тоже в разные годы и при разных жизненных обстоятельствах: в Москве и у меня дома, в поездках по Байкалу и на совместных наших выступлениях перед иркутянами, в каюте теплохода и на вечерних посиделках в гостинице “Русь”:

Леонид БОРОДИН “Год чуда и печали”: повесть. – СПб, Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1991 г. :

Володе Скифу, по-сибирски истинному – от земляка и коллеги со всяческими добрыми пожеланиями.

11-X-94 г. Бородин. Иркутск

Особо – Саше* с благодарностью за внимание к повести, которую писал сердцем, а не рукой. Бородин.

Леонид БОРОДИН “Ловушка для Адама”: повести. – СПб, АКМЕ, 1994 г. :

Владимиру Скифу – земляку и поэту с благодарностью за дружбу.

15.10.98. Бородин.

Леонид БОРОДИН “Русская смута”: повесть, роман. – М., Издательский дом “Хроникёр”, 2001 г. :

Владимиру – земляку и другу – и членам его семьи с любовью.

4.10.06. Бородин.

Леонид БОРОДИН “Без выбора”. Автобиографическое повествование. – М., Молодая гвардия, 2003 г. – (Б-ка мемуаров: Близкое прошлое; Вып. 5):

Владимиру Петровичу Скифу – земляку и поэту с пожеланием в жизни успеха, в поэзии – вдохновений.

1-XII-09 Бородин.

В конце своего повествования хочу добавить ещё несколько абзацев о родителях Леонида Ивановича и о его любимой бабушке.

Бородин – истинный сибиряк, поскольку родился 14 апреля 1938 года в Иркутске и очень гордился тем, что его называли коренным сибиряком, иркутянином. Фамилию и отчество ему подарил отчим Бородин Иван Захарович, учитель, директор школы. Но и родной отец Леонида Бородина, Феликс Казимирович Шеметас тоже был учителем, литовским офицером, осуждённым в СССР за шпионаж и после второго срока в Соловках сосланным в Иркутск и расстрелянным в 1941 году. Воспоминаний о родном отце у маленького Лёни не осталось, да ему особенно о нём и не рассказывали. И лишь к двенадцати годам он кое-что узнал о настоящем отце:

Отец ушёл из моей жизни, когда жизнь моя только началась.

Его “забрали” однажды и навсегда и проделали это так добросовестно,

* Саша – моя младшая дочь, которой в 1994 году исполнилось 13 лет.

что не осталось от него ни фотографии, ни письма и вообще ни строчки, и в итоге к тому времени, когда я научился задавать вопросы, повода для “вопроса” не существовало вовсе, потому что в доме не сохранилось ни единой, даже самой пустяковой вещицы, принадлежавшей отцу. Самые первые мои воспоминания о себе связаны с присутствием в моей жизни отчима.

Это я сейчас так говорю – отчим. Говорю и тем словно обижаю человека, которого и по сей день именую отцом, и никак иначе, потому что дай Бог каждому такого родного, каким был для меня неродной.

Я вырастал с величайшим почтением к своим родителям. Моё уважение к ним было беспредельно. По сей день загадка – как им удалось произвести и ежедневно производить на меня такое впечатление. После Сталина мои родители были самыми умными и самыми работающими, самыми сознательными и самыми честными гражданами страны. По профессии учителя, они были в полном смысле слова одержимы своим учительством. Мы и жили чаще всего при школе, то есть в помещении школы. Разговоры в семье – об учениках и учителях. Споры в семье – о том же. Скорее всего, именно одержимость работой и полнейшее отсутствие каких-либо иных интересов, хозяйственно-собственнических, к примеру, и было основанием моего глубочайшего уважения, почти преклонения, почти обожествления родителей. Мать, окончившая в своё время библиотечный техникум и какие-то учительские курсы, была для меня образцом образованности. Начитанность её и вправду могла поразить кого угодно, а культ книги в нашей семье удивлял даже коллег-учителей. Отец (отчим – до чего ж дурное слово!) – сын крестьянина Орловской губернии – через те же учительские курсы выбился в учителя и, я бы сказал, воплотился, то есть обрёл этот новый социальный статус, прекраснейшим образом сохранив в душе лучшее, что получил в крестьянском детстве, например, почти цыганскую любовь к лошадям. Он, отец (отчим) мой, за всю жизнь ни разу не выматерился, не курил и был решительно равнодушен к алкоголю. Имел он и многие другие достоинства, кои не потеряли ценности в моих глазах позже, когда научился смотреть на родителей своих трезво. . .

Но к двенадцати годам, то есть к тому времени, к тому дню и часу, когда случайно узнал о неродстве отца, был он для меня воплощением всех возможных человеческих достоинств, и удар, нанесённый полученной информацией, был столь силён, что только детство – это особое состояние души и психики, – только оно спасло меня от надлома, которого не избежать бы в том же юношеском возрасте. Я попросту не понял, что значит быть неродным сыном отцу или неродным отцом сыну. Неродной отец – это же нелепость! Он – отец или не отец. И я – сын или не сын. Слово “неродной” не имело самостоятельного смысла. И моё отношение к отцу (теперь отчиму) не изменилось ничуть, как и его ко мне.

Но и любопытство к тому, другому, от которого в доме ничего не осталось, оно, это любопытство, также поселилось в душе, тем более что, как оказалось, ТОТ отец был литовских кровей, и этот факт имел ко мне какое-то отношение, которым я даже несколько кокетничал, ведь вокруг все сплошь были русские, а я – вот нате вам! – не так. . .

В пятнадцать лет с благословения (или с согласия?) родителей я предпринял некоторые розыски следов ТОГО отца, нашёл знавших его, получил не очень внятные мнения о нём (как-никак – враг народа!) и, сколько помнится, был вполне удовлетворён достигнутым. Во всяком случае, факт “двуотцовства” ни в малейшей степени не отразился на моих первых самостоятельных шагах по жизни.

Мама Валентина Иосифовна и отчим Иван Захарович действительно были самыми любящими, самыми преданными ему людьми. Они воспитывали в своём сыне любовь к ближнему, добропорядочность, справедливость и осмотрительность, но совершенно особый след в жизни будущего выдающегося писателя оставила бабушка Ольга Александровна Ворожцова, дочь небогатого сибирского купца, тоже учительница и, как говорил сам Леонид Бородин, – “в памяти мой – энциклопедистка”. Она преподавала в Иркутском сиропитательном приюте, а в русско-японскую войну служила санитаркой в офицерском госпитале при штабе генерала Куропаткина. Потом она будет

работать на первой байкальской метеостанции в Маритуе, ставшем для юного Лёны Бородина отправной точкой его жизни и творчества. И главной здесь будет бабушка:

Это она научит и приучит меня всему, что нужно детству – от трёх лет до одиннадцати. Первое и главнейшее – жить с книгой. Она же в самом моём раннем детстве сумеет нарисовать по уровню понимания моего картину русской истории, ту, что началась в незапамятные времена, где-то с “царя Салтана”, трудно, но славно длилась тысячу лет, а в семнадцатом году только запнулась о колдобину накопившейся человеческой злобы – и, как говорится, рожей в грязь; да на то Божии дожди, чтобы отмываться и светлеть ликом более прежнего.

Русская культура, книги и фольклор, музыка и поэзия – всё это формировало Бородина как творческую личность. Воистину путеводной и незаменимой в его жизни станет книга:

“Как ныне собирается...” знал в восемь, “Песнь про купца...” в девять, в это же время – “Тарас Бульба” и “Капитанская дочка”. Фет, Тютчев, Майков, Полонский – это во время наших с ней постоянных прогулок по ближайшим лесам. (Когда позднее начинал читать Маяковского – словно гвозди заглывал.) Горестные ямщицкие песни – перед сном. Мировой оперный репертуар – весь до двенадцати лет. Дочь девятнадцатого века, она не изжила романтики народолюбия, и Некрасовский плач о страдальце-народе образом “несжатой полосы” прочно окопался в душе, формируя ту самую “отзывчивость”, каковая в итоге и образовала мою жизнь так, как она прошла.

Много мне поведала купеческая дочь, но ни слова о Боге и ни слова о советской власти. Пока она была жива, мы существовали с ней вдвоём в некоем странном национальном поле, куда злоба или доброта дня длящегося не залетала. То было поле духа, единого национального духа, но, как понял много позднее, духа всё же ущербного, ибо без высшей явности духа – Духа Свята; о Его присутствии в мире мне поведено не было. И эта ущербность воспитания так и осталась до конца не преодоленной. По молодости она компенсировалась особенным, иступлённым отношением к Родине, в чём, безусловно, был изъян, поскольку в моём взъёске к Родине первичной была требовательность: как у любимой женщины, у неё не должно быть недостатков. При обнаружении таковых я испытывал почти физическую боль, потому что, в отличие от взаимоотношений с женщинами, которых любил, любви к Родине у меня не было, не могло быть, ибо в сознании вообще не существовало разделения на субъект-объект. Если б кто-нибудь спросил, люблю ли я Родину, то, конечно, какой-нибудь ответ прозвучал бы, но сам вопрос остался бы не понятым по существу. Как можно любить или не любить то, чего крохотной, но всё же неотъемлемой частью являешься сам? Разве в любви дело? Дело в соответствии: если я плох (а я не сам по себе, я часть), то своей плохотой я уплошаю и всё, от чего неотривен...

В 2003 году Леонид Иванович издаст книгу автобиографической прозы “Без выбора”, в которой расскажет о своей непростой, не похожей ни на чью жизнь, наполненной самыми разными событиями, настолько поразительными, что кажется, будто это жизнь не одного человека, а нескольких. Леонид Бородин – не только выдающийся русский прозаик, он ещё и настоящий, истинный поэт. Вот одно из самых ранних стихотворений, которое он скромно называет “стишок”:

*Страна моя! В твоём просторе
От тех дорог до тех дорог
Сто иностранных территорий
Я б без труда упрятать мог.*

*Страна моя — кусок что надо!
Не на аршин, не на пятак
Авансом выдана награда.
И жить хочу не просто так!*

А вот уже совсем другие стихи, написанные через пятнадцать лет и, как пишет сам Бородин, “легко ль поверить, что написаны они в камере Владимирской тюрьмы на шестой день голодовки – по поводу чего, уже и не помню”:

*Мне Русь была не словом спора,
Мне Русь была — судья и мать.
И мне ль российского простора
И русской доли не понять,*

*Пропетой чуткими мехами
В одно дыхание моё.
Я сын Руси с её грехами
И благодатями её.*

*Но нет отчаянью предела,
И боль утрат не пережить.
Я ж не умею жить без дела,
Без веры не умею жить,*

*Без перегибов, перехлёстов,
Без вёрст, расхлёстанных в пыли.
Я слишком русский, чтобы просто
Кормиться благами земли.*

*Знать, головую неповинной
По эшафоту простучать...
Я ж не умею вполонину
Ни говорить и ни молчать...*

Путевой рабочий на Кругобайкальской железной дороге, учащийся школы милиции в Елабуге, студент-историк Иркутского госуниверситета, студент Улан-Удэнского пединститута, бурильщик на Братской ГЭС, проходчик норильского рудника, учитель и директор школы в селе Серебрянка Лужского района Ленинградской области, сторож базы зверопромхоза в сибирской тайге над Култуком и Слюдяной, кочегар, конюх и дворник в Иркутском медучилище, поэт и прозаик, философ и мыслитель, публицист и главный редактор журнала “Москва”, преподаватель Литературного института имени М. Горького, член Общественной палаты Российской Федерации, писатель-классик, автор только что вышедшего в свет 7-томного собрания сочинений — это всё Леонид Иванович Бородин.

А ещё — член “Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа” (ВСХСОН), знаменитый диссидент, “сиделец”, политический заключённый, отмотавший два срока в советских лагерях. Первый срок — с 1967 по 1973 год — за “антисоветскую пропаганду и агитацию”, который отбывал в исправительно-трудовой колонии ЖХ 385\11 (Мордовия), а с 1970 года — во Владимирской тюрьме, куда был переведён по требованию лагерного начальства. Освобождён в феврале 1973 года после полного отбытия срока.

Самыми счастливыми годами жизни Леонид Иванович считал годы работы вместе с женой Ларисой в сибирской тайге на базе зверопромхоза в районе Култука, куда они, счастливые и влюблённые, отправились 11 июня 1973 года. В этих благословенных местах они фактически были хозяевами огромного кедрово-таёжного пространства, где все остальные, кто приходил в тайгу с наступлением сезона на шишкойой или сбор грибов и ягод, действительно относились к ним, как к хозяевам, с уважением и почётом. И где под ненавязчивый стук дождя Бородин писал совершенно удивительную повесть “Третья правда”, сюжет которой он обдумывал ещё во владимирских камерах.

Там, в сиятельной тайге, в трудах и заботах по обустройству таёжного лагеря, в свечении русского Слова, в благолепии природы, во взаимной радости и любви обретал себя будущий великий писатель Леонид Бородин. Испытания и радость взаимного бытования, неурядицы и романтика — всё шло рядом:

“Поедем, красotka, кататься!” — предлагаю я жене и седлаю обеих лошадей. От базы вдоль гривы километра на четыре — укатанная тракторная дорога. Без седла я не усую на лошади и километра, зато в седле — хоть так, хоть этак, то есть боком, хоть с уздой, хоть без. Монголки рысью не умеют, с шага сразу в галоп. Зато не галопируют — стелются вдоль дороги. Всё это конспективно объясняю жене, до того видевшей лошадь в основном в кино. Возмущён

её робостью, оскорблён неразделённостью настроения. Не уговариваю — заставляю водрузиться на кобылу. Ну, как же! Такая луна и дорожка прямая! Это ж на всю жизнь запомнится! При посадке лошадь наступает копытом же не на ногу, я слышу вскрик, но не обращаю внимания: я уже вижу, как мы вдвоём скачем по ночной безлюдной, лунной высвеченной тайге.

*Мы уходили от тумана
на длиннохвостых кобылицах,
росу копытами сбивая,
в росе копытами звеня.
Сквозь удила храпели кони,
хлестали гривами по лицам,
и в нашем радостном побеге
ты не отстала от меня!
Мы уходили от тумана,
и мы неслись, и мы летели...
И всё случилось, как случилось
в забытых юношеских снах,
мы в этом яростном галопе
смогли познать на самом деле,
что могут двое, если двое
на стременах!
Без колдовства и без обмана
вдруг стала явью небылица...
В одном рывке, в едином вихре
навстречу призрачности дня
мы уходили от тумана
на длиннохвостых кобылицах,
и в нашем радостном побеге
ты не отстала от меня!*

Но 13 мая 1982 года Бородин был повторно арестован и осуждён. Как “рецидивист” — к десяти годам заключения и пяти годам ссылки. Информационное Агентство ТАСС сообщило, что Бородин “в течение многих лет вёл незаконную деятельность... хранил и распространял работы, содержащие клевету на советский государственный и общественный строй, переправлял на Запад по нелегальным каналам собственные клеветнические произведения, которые публиковались в издательстве НТС “Посев” и незаконно ввозились назад в СССР для распространения”. Отбывал срок уже в другой исправительно-трудовой колонии, в Пермской области (политическая зона Пермь-36), откуда освобожден в 1987 году после принятия решения Политбюро ЦК КПСС об освобождении (помиловании) осуждённых по статьям 70 и 190-1 Уголовного кодекса; писать прошение о помиловании Леонид Иванович Бородин отказался.

По прошествии многих лет он будет снова и снова вспоминать былые годы, свою малую родину Сибирь, куда он приезжает всё реже и реже, и однажды на больных ногах взбирается в Маритуе на знаменитые, сохранённые в памяти и в книге “Год чуда и печали” скалы.

И нынче грустно и умильно смотрим на сохранившиеся фотографии, снимки подтверждают, свидетельствуют — оно было, стихийное, неререфлектируемое счастье, иначе зачем бы их хранить, фотографии эти...

Или вот ещё: стоим мы с женой на том самом месте, где великая Ангара выпадает-вытекает из великого Байкала. С другой стороны ангарского пролёта, из-за горы, что над посёлком Листвянка, выплывает-возносится красный шар луны. Он так огромен, как бывает огромен, рассказывают, только в африканских пустынях. Только в пустынях, сколь ни велик шар, он всё равно далеко. А тут — рукой подать — красно-оранжевое чудище с таинственной ухмылкой... И тотчас же с того ангарского берега к нашему — красно-оранжевая дорога и прямо в ноги упирается, если ноги у самой воды. Иноприродная плотность лунной дороги до того обманчива, что от отчаяния вопиешь к разуму, чтоб не ступить и не зашагать... От соблазна шаг назад. А шар завис над горой в раздумье: дескать, ну, что им ещё надо, людишкам — мотылькам вечности...

